UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
00011893775

Р.С.Ф.С.Р.
Всероссийский
Пролеткульт.

экземпляръ

А. Гастев.

ПОЭЗИЯ РАБОЧЕГО УДАРА.

Избранные тексты.

ИЗДАНИЕ
САРАТОВСКОГО ПРОЛЕТКУЛЬТА
С.В.Р.А.І.О.З.
1921 г.

Р. С. Ф. С. Р.
Всероссийский
Пролеткульт.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ee
c PG3460
.G314
P6
1921

А. Гастев.

ПОЭЗИЯ РАБОЧЕГО УДАРА.

POEZIIA RABOCHEGO UDARA

Издание третье.

The Library
The University of North Caroline
Chapel Hill

ИЗДАНИЕ
САРАТОВСКОГО ПРОЛЕТКУЛЬТА.
САРАТОВ.
1921 г.

Напечатано по разрешению Госиздата 3000 экз
Р. В. Ц.—Саратов.

Федор Калинин.

Путь пролетарской критики и „Поэзия рабочего удара“ А. Гастева.

Digitized by the Internet Archive
in 2026 with funding from
University of North Carolina at Chapel Hill

https://archive.org/details/poziiarabochegou00gast

Путь пролетарской критики и „Поэзия рабочего удара“ А. Гастева.

Пути развития буржуазии и пролетариата несовместимы. Эта истина каждому мало-мальски развитому рабочему давно известна. Однако на деле часто допускаются компромиссы, при чем люди даже не замечают противоречия со своим основным положением. Например, оценку художественного произведения, в особенности с эстетической стороны, нередко от лица пролетариата, дают сделать специалисту, не стоящему на классовой точке зрения. Такого рода компромиссы вредны и свидетельствуют о далеком неполном освобождении от буржуазных влияний. Не только разбор художественного произведения, но всякий разбор и исследование в любой области жизни не должны, по крайней мере, без строгого контроля, нами доверяться представителям идей других классов. Если мы вспомним основное характерное направление буржуазной литературы последнего времени в области художественной и философской, то нам придется охарактеризовать его, как банкротство буржуазного сознания в развитии исторической перспективы. Буржуазия и ее идеологи, наемные и не наемные, не находили оправдания в расширении прав развивающегося разума. На этом пути получившиеся результаты и выводы не сулили им ничего хорошего. Они вели к краху капиталистического общества, чего допустить и желать буржуазные идеологи и не могли. Это побуждало их искать выхода в тумане всякого рода мистических теорий, в разнообразных и изощренных формах теософии, оккультизма, примитивизма, интуитивизма и т. д. Сознаться в крахе своего положения и

строя буржуазия не могла,—все силы души противились этому. Вместо этого она об'явила бессилие человеческого интеллекта (рассматривая его при этом не как конкретное, присущее тому или иному классу, а как нечто отвлеченное, в основе своей одинаковое для всего человечества), который будто бы не способен преодолеть целого ряда стоящих перед ним препятствий. Интеллекту они стали противопоставлять интуицию, догадку, переносили центр тяжести на эти стороны человеческого познания, чтобы опереться на то, что не поддается учету, что непонятно и продолжает быть невыясненным и загадочным; верные своей природе, они и эти стороны, отрывая их от познания в целом, извратили, представили в ложном, загадочном и мистическом виде.

Если буржуазия, отмахиваясь от предстоящего краха капиталистического строя и своего господства, придумала для себя мир приятных грез и фантазий, через призму которых она хочет навязать и нам рассматривать все события и явления мира, то пролетариат должен с беспощадностью разоблачать этот мираж. В лице наиболее хитромудрых своих представителей Бергсона и Бутру, буржуазия провозгласила капитуляцию человеческого разума, заявила, что 25 веков его развития привели в тупик, а как способ выхода из этого тупика рекомендовала подчинить «бессильный разум» интуиции в их мистическом толковании. На это мы, рабочие, отвечаем: вы, господа хорошие, безнадежность перспективы своего положения в развитии общественной жизни приняли за бессилие разума вообще. Это—ваше дело, как вам заблагорассудится, так и двигайтесь по избранному пути. Нам с вами не по дороге. Наше положение и основанное на изучении его убеждение говорит нам, что сила организованного сознания постепенно развивается и подчиняет себе интуицию-догадку. Интуиция или, вернее, подсознание, есть только склад-хранилище накопленного опыта, и наша задача по отношению к этому хранилищу—научиться при помощи сознательных усилий воли пользоваться им в нужной работе и в нужный момент. Область случайного, если мы и не изгнали еще, то уже приступили к выполнению такой задачи. Творчество по чистому вдохновению постепенно отходит в область преданий. В наш век творцы во всех областях ставят себе сознательно определенные цели и планомерно, рассчитанно их осуществляют. Область изобретений переносится на фабрику. В Америке и Германии существуют

фабрики изобретений, где изыскания производятся по точно разработанному плану коллективным способом, и вместо личного усмотрения регулирует работу творчества коллективно-выработанная система.

Рабочий класс должен установить свои пути и свою оценку в какой бы то ни было области. И если иные товарищи нам говорят противное, то это—признак непонимания положения и задач пролетариата.

Все зависит не от того или иного количества знаний фактов (их можно при упорстве труда всегда приобрести), а от того, в какой связи рассматривается данное общественное событие или явление, с какой позиции производится его оценка. При исследовании законов общественного развития Маркс подходит с точки зрения рабочего класса, как производителя. Этот способ исследования дал ему возможность создать научный социализм, в корне изменивший взгляд на общественное развитие. Религиозный человек ставит бога в центре мира, а человека на земле, как существо, для которого создана вся природа; и в зависимости от этого он рассматривает и строит свои отношения к общественной и мировой жизни. Техник-материалист будет все рассматривать с точки зрения комбинаций материальной энергии, ее соединения и раз'единения. Результаты такого построения дают ему возможность понять природу и поставить самого себя в такую связь, которая дает нам большие результаты в преследовании его практических целей, позволяет сделать соответствующий этому выбор пути или комбинацию. То же самое—в выборе средства определить мотивы и формы пролетарской литературы. Все зависит от способа подхода, с какого положения будем ее рассматривать.

В поисках формы и содержания рабочей литературы, также и оценки, рабочий критик прежде всего должен подходить к делу сознательно и организованно. А это значит: он должен исходить из существа природы пролетариата, его положения в обществе, глубоко осознав это положение в капиталистическом строе и подметив пути развития. Пролетарский писатель должен понять связь своего класса с современным состоянием общества и отчетливо уяснить его открывающиеся перспективы.

С каждым днем революция все больше и больше выдви-

гает рабочих-писателей, и близок уже день, когда рабочий-писатель станет обыденным явлением. Большинство рабочих-писателей выступают, как поэты. Преобладающим мотивом их творчества является отражение современной революционности настроений. Основных, положительных пролетарских мотивов, в которых бы отмечались внутренние пружины рабочего социалистического движения, почти нет совсем. И это понятно Для того, чтобы изобразить со всей силой художественного выражения основное развитие жизни, формы, в какие она начинает выливаться, борьбу старых пережитков, их живучесть, предсмертные судороги, и ясно нарисовать картину, как все-таки новый тип жизни, вопреки преградам, пробивается сквозь рутину и косность и встает перед нами в ярких чертах мощного прообраза социалистического строя, организующего наши волевые усилия в единый могучий порыв к достижению конечной цели,—чтобы уметь это изобразить, надо не только быть художником, но, кроме того, хорошо знать хозяйство, законы его развития и вполне владеть марксистским методом, который дает возможность вскрывать все наслоения и плесень буржуазного флера.

Другой основной мотив пролетарского творчества—изображение психологии передового рабочего. Перед рабочими писателями стоит задача изобразить формирование пролетарской психики, ее столкновение и борьбу с буржуазными пережитками,—провести сознательный тип рабочего борца через вековые слои тины, скопившейся на путях буржуазной культуры, показать временные поражения и сомнения, ошибки и снова приливающие порывы к движению вперед; показать, как неудачи и поражения расширяют опыт и с еще большей силой толкают пробивать путь к намеченному самим ходом общественного развития идеалу,—все это требует от рабочего писателя и ясного понимания об'ективных классовых условий, и умения тонко анализировать душевные переживания в связи с общественным бытом и обстановкой. Задача эта сложная,—она пред'являет рабочему-писателю требование владеть методом и самостоятельно до конца мыслить; только это даст возможность отчетливо и осознанно чувствовать. Если и можно чувствовать не вполне понимая, то это чувствование ясно для других изобразить нельзя. Изображаемое в конечном выражении всегда подвергается контролю сознания.

Обыкновенно рабочему-писателю удается более или менее легко изобразить психологию малосознательного рабочего. Психология передового пролетария сложна, она находится в тесной связи и зависимости от общественных процессов развития, которые протекают внутри отживающего строя и скрыты его оболочкой. Они сами нуждаются в раскрытии. Художественное же творчество в своем процессе опирается на подсознательный опыт, на сумму отложившихся в ходе жизни впечатлений из окружающего быта. А этот быт до октябрьского переворота был сплошь буржуазным. Капиталистический строй регламентирует и регулирует быт буржуазными нормами, которые охватывают всю жизнь до самых мельчайших проявлений, начиная с рисунка на конфетах, текстов отрывных календарей на каждый день, до высших правил морали, которая предписывается религией, прислуживающей буржуазному строю, или выводится из хитро построенных туманных философских теорий. Чтобы вырваться из этого лабиринта хитросплетений, нужно глубоко мыслить, знать внутренние пружины движения смены общественных форм. Если рабочему, в конце-концов, и удается все это преодолеть, то только потому, что классовые противоречия, как результат производственных материальных изменений, постоянно толкают его на борьбу, а в ней приобретается знание, которое оформляет и организует практические действия в стройный порядок и, таким образом, способствует достижению поставленных целей с наименьшей растратой сил.

И вот, когда перед нами, сознающими всю сложность задач, которые стоят перед пролетарскими писателями, выступает автор с подлинными не только революционно-боевыми, но и глубоко-положительными пролетарскими мотивами, то мы должны отнестись к нему с особенным вниманием и серьезностью. Эти мотивы для нас новы, мы не можем пред'явить к ним определенных проверенных предыдущим опытом требований. Руководством в оценке для нас могут служить только общие принципы марксизма, о которых мы говорили выше.

Перед нами книжка А. Гастева „Поэзия рабочего удара". Многие газеты и журналы дали о ней отзывы. Почти все отметили оригинальность мотивов и новый подход к ним. Вот вступительное стихотворение в прозе:

Мы растем из железа.

Смотрите!—Я стою среди них: станков, молотов, вагранок и горн и среди сотни товарищей.

Вверху железный кованый простор.

По сторонам идут балки и угольники.

Они поднимаются на десять сажен.

Загибаются справа и слева.

Соединяются стропилами в куполах и, как плечи великана, держат всю железную постройку.

Они стремительны, они размашисты, они сильны.

Они требуют еще больше силы.

Гляжу на них и выпрямляюсь.

В жилы льется новая железная кровь.

Я вырос еще.

У меня у самого выростают железные плечи и безмерно сильные руки.

Я слился с железом постройки

Поднялся.

Выпираю плечами стропила, верхние балки, крышу.

Ноги мои еще на земле, но голова выше здания.

Я еще задыхаюсь от этих нечеловеческих усилий и уже кричу:

— „Слова прошу, товарищи, слова".

Железное эхо покрыло мои слова, вся постройка дрожит нетерпением.

А я поднялся еще выше, я уже наравне с трубами.

И не рассказ, не речь, а только одно, мое железное, я прокричу:

„Победим мы".

Этим выкованным из железа стихотворением А. Гастев вводит нас в мир своего творчества. Своим заглавием „Мы растем из железа"—автор вскрывает сущность философии индустриального пролетариата. Путь к завоеванию пролетариатом мира неразрывно и необходимо связан с ростом машинного производства.

Коллективная воля безымянных, безвестных работников, вложивших энергию своих нервов и мускулов в железные постройки, воплотивших ее в станках, стропилах, молотах, кранах,

невидимыми токами связана и слита с живыми сменившими их и сменяющимися рабочими. Безмерный рост железа построек вливает новую кровь в жилы новых работников и этим растит силу пролетариата.

„Победим мы“,—заканчивает А. Гастев стихотворение,—и это не простое уверение агитатора, это—жизненный вывод необходимого развития, неумолимый результат железного роста.

Еще не так давно рабочий смотрел на производство враждебно. Даже вопрос о нормах выработки вызывал враждебное отношение рабочих, они видели в ней стремление к новому, утонченному способу эксплоатации. А. Гастев этим стихотворением показывает им, что в каждой балке, в каждом заложенном бетоне и во всем производстве застыл труд рабочих, их жизненные соки, их воля.

Машина, сделанная рабочим по ту сторону океана и привезенная к нам, служит живой связью с теми рабочими и продолжает служить нашему росту и росту мирового пролетариата. Каждый живой работник—только звено в этой безмерно растущей цепи, и именно в этом росте рабочий кровно заинтересован, отсюда в него вливается „новая железная кровь“, способствующая его развитию, дающая силы к победе. Вот почему мы и говорим, что для нас, рабочих, искусство—не простая забава, что оно организует нашу волю и сознание. Вот что говорит нам другой рабочий поэт, В. Кириллов, приблизительно на ту же тему:

„Чем сильнее звонкий молот будет бить, дробить, ковать, тем светлее будет радость в мире сумрачном сиять.

Чем проворнее будут двигаться приводы, шестерни, тем пленительней и ярче загорятся наши дни“.

Эта поэзия подлинно пролетарская, она организует нашу волю в единый порыв, направляя ее по основному руслу внутреннего развития сил рабочего класса. В робкие еще не сознательные души рабочих она вливает уверенность в победе и указывает им, что только они,—хозяева производства, этого станового хребта всей общественной жизни.

„По временам у него (крана) из-за плетеных балок и брусьев смотрели глаза, полные дальнего замысла. И тогда в людских толпах загуляли восторженные легенды и повести о будущих под‘емах, о еще больших, о тяжелейших. Напряженный

металл крана грелся, горел, преображался. Весь кран слился, спаялся, нашел в себе новую каленую металлическую кровь, стал единым чудовищем... с глазами и с сердцем, с душой и помыслами. „Он дружески заразил своими железными думами миллионы строителей-работников".

Для А. Гастева машина—не бездушный предмет, это—живой сгусток коллективной нервной энергии работников, которая продолжает жить во всех частях производства и служит побудительным стимулом для живых пролетариев в их дальнейшей работе. Машина регулирует отношения рабочих, их поведение предписывает им определенные действия, и в тоже время она является продолжением их рук, чувств и замыслов. А. Гастев одушевляет машину,—она связывает рабочих с прошлым и будущим, они в ней живут. Ее развитие есть развитие пролетариата, торжество и победа машины связаны неразрывно с торжеством и победой рабочих.

„Работник-творец" говорит у него:

— Дивно я сжал мою землю-планету стальною прокованной волей.

Дерзко на бой вызывал я земные, когда-то ужасные, злые стихии;

Я их победил, приручил, заковал.

Пробивай же еще отточенным резцом, прорезай непробитую жесткую даль!

Твердый металл закали, отшлифуй, доведи, огня из схороненных глубей земли принеси, и грянь своим молотом верным, зубилом заправленным метко вонзи, и пытливую мысль в неизвестное взвей!

— Ты погибнешь.

— Умри хоть с одним покоренным безумным желанием! Пусть не ты воплотил, но порывы труда боевого другим передай!

— Все пытайся ковать и ковать, все пытайся тяжелые рельсы стальные поднять и продвинуть в бездонных, безвестных, немых атмосферах к соседним, пока не разгаданным, чуждым планетам.

Нельзя.

— О, много погибнет... Умрут без числа... Но я знаю, уверен: скуют, опояшут вселенную быстрыми, сильными рельсами воли.

— То-то родится в усильях железных. То-то взойдет и возвысится, гордо над миром взовьется, вырастет новый, сегодня незнаемый нами, краса-восхищение, первое чудо вселенной, бесстрашный работник-творец-человек".

В прекрасном произведении „Башня" А. Гастев ярко и сильно рисует неуклонное стремление вперед. Зарождаются сомнения, неизбежны падения, могилы, но работники приходят один за другим, строят и пробиваются вперед через сомнения и падения, все выше и выше вперед. „Пробивай своим шпилем высоты ты, наш дерзостный башенный мир"!

„Сильнее слов", „Железные пульсы", „Рельсы", „Мы посягнули", „Кран", „Ворота", „Мы растем из железа", все эти оригинальные и сильные вещи будут читаться рабочими и вдохновлять поэтов и художников, давая им сильные образы, как стимулы для нового творчества.

В поэзии А. Гастева нет места личному „я", духу индивидуализма: машина, балка, зубило не говорят, кто их произвел. Их произвели безвестные работники. В один кусок зубила вложены усилия десятка и сотен работников. Начиная с шахт, где добывается руда, при помощи всевозможных приспособлений, железных дорог, домов, фабрик,—все это принимало участие в производстве зубила. Тут нет места „я". Здесь только одно многоликое, безмерно большое, не поддающееся учету „мы", и это „мы" вдохновляет пролетария, совершенствует его и выковывает „работника-творца-человека".

Глубокая по замыслу, сильная по отдельным моментам выражения, но не особенно разнообразная по содержанию, поэзия А. Гастева разнообразна по форме. Форма далеко не совершенна и не равна. Видно, что он писал не специально, а между прочим, чтобы отделаться от того или иного образа или мотива. А. Гастеву нужна серьезная работа. Формы своей у него нет. По содержанию поэзия А. Гастева подлинно пролетарская, а форма заимствована у буржуазных писателей,—есть у него и символистика, и импрессионизм, формы смешанные,—реалистическая и бытовая. Лучшее произведение „Мы растем из железа", по содержанию будучи совершенно самостоятельным, по форме— Уитменовское. Буйная стихийная сила аморфного анархиствующего мелко-буржуазного демократа Уитмена по своей основе радикально расходится с пролетарскими представлениями мира. Пролетариат—это такой класс, который знает, чего он хочет.

Всему неопределенному он противопоставляет строго сознательную организованность. А. Гастев своими произведениями показал самую основу, внутренние кровеносные каналы индустриального машинизма, которые развиваются с неумолимой последовательностью и дисциплинируют волю живых работников, приучая их сотнями, тысячами делать движения в один момент.

Форма, содержание которой дается внутренней жизнью производства, должна быть такой же стройной и неумолимо точней, как логика механизма машины, которая подчиняет и перерабатывает по своему целестремлению действия пролетариата. Пролетарская форма должна вполне соответствовать той строгой научности, точности и организованности, на основе которой развивается борьба пролетариата. От прошлой и настоящей эпохи пролетариат берет только материал, использует отдельные приемы, способы изображения того или иного действия или описания предметов; а построение целого должно быть сорганизовано самостоятельно, в полном соответствии с новым классовым содержанием психологии, хозяйства, быта.

А. Гастев закладывает фундамент пролетарской поэзии. Пусть в некоторых частях она несовершенна, форма еще не своя, но материал ее прочен и будет служить стимулом и отправной базой дальнейшего развития рабочей литературы.

Алексей Гастев.

„Поэзия рабочего удара".

Мы растем из железа.

Смотрите!—Я стою среди них: станков, молотов вагранок и горн и среди сотни товарищей.

Вверху железный кованый простор..

По сторонам идут балки и угольники.

Они поднимаются на десять сажен.

Загибаются справа и слева.

Соединяются стропилами в куполах и, как плечи великана, держат всю железную постройку.

Они стремительны, они размашисты, они сильны.

Они требуют еще большей силы.

Гляжу на них и выпрямляюсь.

В жилы льется новая железная кровь.

Я вырос еще.

У меня у самого вырастают стальныя плечи и безмерно сильныя руки. Я слился с железом постройки.

Поднялся.

Выпираю плечами стропила, верхние балки, крышу.

Ноги мои еще на земле, но голова выше здания.

Я еще задыхаюсь от этих нечеловеческих усилий, а уже кричу:

— „Слова прошу, товарищи, слова!“

Железное эхо покрыло мои слова, вся постройка дрожит нетерпеньем. А я поднялся еще выше, я уже наравне с трубами.

И не рассказ, не речь, а только одно, мое железное, я прокричу:

„Победим мы!“

Звоны.

Новое — било, мятежное звало, шумное, бурное дерзко будило.

До блесков пурпурных зари, до криков надсадных гудка поднялся.

Искал я и слушал, тревогу хотел разгадать, сердца хотел я понять перебои.

И вдруг ворвались через двери и окна убогой хибарки с гамом неслыханным, с шумом вбежали весенние новые звоны.

Все позабылось... Скорее на волю, бежать без оглядки и слушать весенние звоны.

Влагою свежей дышала земля; дождик живительный, первый весенний, ночью прошел. Грянул проливной, грянул обильный, землю обмыл и понежил.

Резвыя глыбы громад облаков гнались в холодных и легких просторах небес.

Милою, теплою лаской нежданной вставало весеннее солнце.

Высоко, высоко в заповедных глубинах расторгнулись двери наполненных звоном невидимых храмов, ворвались света моря-океаны и падали книзу волной-вдохновеньем вестникам пира весеннего—птицам.

С звонами новыми, звонами вешними птицы неслись над равнинами, лесом, полями, долинами, всюду будили восторги весны, разливали призывы, песни несли.

Земля доверялась их песням. Вся—доброта, вся—любовь материнская, отдавала она запасенные соки, рядилась коврами, поила кусты и деревья.

Робко, как детские глазки, раскрылись весенния почки. Ветер срывал фимиамы их, нес к городам.

Побежали опять, задыхаясь, весенние звоны, кто-то шальной заходил вдоль по лесу, во всю загулял, лес как в хмелю закачался, запел, загудел.

На газовых мантиях-крыльях вырвалась мысль, понеслась из простывших за зиму низин, быстро взвивалась мечта, а за нею вставала силач-исполин—вдохновенная властная воля.

Говорить бы скорей, рассказать, все поведать, ринуться в море людское, призвать, слово новое дать, воскресить схороненные сердца порывы и к шуму и к звону людскому скорей, как к приливу весеннему гнаться.

Вдалеке от угара весны—черной скалой высился хмурый весь сталью и камнем гудящий, весь беспокойный завод.

Чем же порадуешь? Вестью весенней какой подаришь, дом наш—жилище труда и неволи?

Холодом прошлого, злым полумраком встретили своды заводские море людское, шумящее звонами новыми.

Со скрипом лениво брались привода ..

Завыли моторы тоскливою песней...

И вспомнились звоны надрывные чьих-то рыданий, печали схороненной, жалоб несказанных. Жужжали моторы таежною вьюгой над кем-то далеким, заброшенным в глуби лесов нелюдимых.

Закружились валы, зашептали о чем то зловеще-тревожном, и всхлипывал часто ремень на шкивах.

Молоты били и грохали в кузницах дальних, наполненных дымом .. И звоны смертельные, звоны губящие жизнь, в душу вонзались.

Колотили, стучали, скоблили, скрипели у ближних тисков..

И звоны ключей в корридорах тюремных как будто готовили узникам запертым — весть безнадежную, новость последнюю...

Мчался по рельсам гулко, раскатисто кран. Спускались-ложились и снова брались под'емныя цепи... И болью глубокой-болью знакомой в сердце входили, его разрывали—кандальные звоны...

Нехотя шли на заводе станки. Со скрежетом брали резцы токарей, грызли со злобой металл фрезера, фыркали стружкой резцы строгалей.

Не ладился нынче завод. Ломалися сверла, все драли резцы и фрезеры с треском крошились.

Грелись трансмиссии, выли подшипники, клепка не ладилась, молот валился, не брала пила.

Стоном последним, звоном надрывным, усталым прошел по заводу разбитый тревожный гудок...

Запружены лестницы, хоры, подвалы народом.

Замер завод.

И с новыми звонами, вольными звонами, звонами бурными хлынули волны шумливого люда рабочего.

В воздушных просторах, в лесах, по холмам, по долинам играла все та же весна. С неба шли те же весенние звоны, но звали тревожными новыми песнями. По небу с молнией к нам подплывали грозовыя тучи и грянули громом раскатистым, бодрым, призывным—весенние новые звоны.

Старость.

Огнями яркими, игривыми был залит храм богини-биржи. Там короли—владельцы копей угольных справляли праздник дивидендов.

Дрожали люстры золотом бесчисленных огней. Колонны утопали в зелени тропических цветов. Сверкали изумруды, бриллианты, ожерелья. Громы музыки рвались к тяжелым полнозвучным куполам и гимном реяли над праздничным весельем. Каскады, водопады, взрывы смеха неслись к балконам откормленных тузов, как сытая, довольная молитва богу-капиталу.

Лилось вино, шипели дорогие воды.

Поднапились...

И звон бокалов сменили тосты, блеск шлифованных речей.

Ласкали речи, нежили, баюкали мечту о новых шахтах, россыпях, о новых дивидендах.

И опьяненный и вином и блеском будущих, неизмеримых, золотых и неразрытых гор, встал президент и добрым голосом сказал:

„Гуманность все же наш девиз. Не забываем мы и о работниках, рабах усталых подземелья. Мы в этот светлый день дадим им пенсию на старость каждому, кто доживет, достигнет до шестидесяти лет".

Как громы грянули, взвились апплодисменты. Дрожала биржа, заревели купола, разбились окна. На вышках раздались салюты капиталу. От жалости, от доброты неизреченной задыхалась биржа...

И вдруг из глубины земли, с подземных шахт на светлые высоты, на биржевые хоры, как черное видение, как призрак поднялся шахтер.

Чуть-чуть как будто замигали люстры. Тревога пронеслась. И на минуту замер пышный пировавший зал... Но президент нашелся.

— Ты—нам привет? Ты—благодарность? От трудового класса?..

— Да... захрипел шахтер, но оборвалась речь.

Он только поглядел. Глаза смотрели давними, потухшими огнями. Тяжелым оловом налитые зрачки...

Из вдавленных орбит десятилетия, века смотрели угнетенья на созданный ценою поруганья, униженья мир.

Глаза сочились гноем, гной лился по копоти лица. Тряслися ноги. А сзади рос, давил и гнул, заковывал до смерти, приговаривал к могиле тяжелый, как руда земная, горб.

Шахтер искал опоры. Хватал костлявыми руками за перила, за клюку-подругу, но не сдержался, зашатался.

Последним вздохом проклял мир, остывшим взглядом поискал дешевый гроб и грохнулся на изготовленное изголовье— заработанный за жизнь мешок угля.

В предсмертных судорогах простонал он: „мне только сорок лет".

По знаку дирижера заиграл было оркестр, чтобы заглушить последний стон, но оборвались струны и рыданьем взвились аккорды похоронные на хоры...

Чуть-чуть заколебались и понизились на бирже дивиденды..

Но президент опять нашелся: „Господа, к закону я вношу поправку. Я предлагаю пенсию им в пятьдесят пять лет"...

Тогда то задрожали гулом злым, подземным придавленные Биржей, черные, пронизанные пылью миллионы.

В подземных шахтах понеслись гудки, цепей разорванных поднялись звоны и с Биржи гордой и надменной сорвались, вниз покатились, вдребезги разбились игривые и беззаботные огни.

Осенния тени.

Промчалось быстро для кого-то лето, полное мечты, игры, волнующих, волшебных снов.

Для нас, для забастовщиков, оно тянулось бесконечно. Как призраки бескровные вставали и ложились дни.

Надежды были скованы безжалостной нуждой. Костлявый голод неустанно шлялся по пустым, полураспроданным жилищам. Лишь иногда он хранился в туманах едких опьяненной, с горя одурманенной толпы.

Все злились, стали желчные, переругались. Доходили до битья. Грозили смертью.

Я помню этот крестный ход наш на последнее собранье Задушенные горем шли мы кончить забастовку.

В лесу сидели мы, как проданные на убой, ненужные, худые клячи. Я помню налитые кровью и безумные глаза. Я помню, как без веры в жизнь, в грядущую победу там кинул кто-то черный и отчаянный призыв. Я помню, как товарищ зарыдал на полуслове. Я помню, вопль отчаянный пронесся в глубине толпы; толпа тогда как будто что-то светлое, родное схоронила и замерла в ужасных ожиданьях.

На дальних, на лесных опушках зазвенели было переливы юных песен, но скоро оборвались и забылись.

Пронзенные отравой жизни, поруганьем, пошли из леса молча мы к проклятому, бездушному заводу.

Но улыбнулся улыбкой жадной капитал: он нам локаут приготовил. С тех пор приговоренные к голодной смерти все

ходят под дождем, по мутным лужам, осенния, оброшенныя тени.

Лишь только свет, выходит милый Гриша, все распродавший и раздавший за время забастовки. Он в тонком пиджаке, не высохшем еще и за ночь. Стучит зубами и с больной улыбкой захотел шутить со мной и говорит: „пойдем на-пару свататься к невесте-речке".

А вот другая тень. Бежит проклявший мир: и капитал и труд, бежит Антон „Непьющий". Сорвал с кого то, знать с студента, на двухсотку. Дрожащими руками он швырнул сидельцу деньги, и не пил, а... пожирал проклятую сивуху. А после— целый рой бессвязных, злых, ужасных слов, кому-то вверх грозящих взглядов и жарких и отравленных дыханий.

К полудню выползает на шоссе малютка-Шура. Ему как будто нет и четырех. А уж знакомо, Боже, как знакомо горе жизни. С серьезными глазами охает, идет и тащит, тащит через силу щепки от построек и домов заводских. Идет, качается и чуть не поскользнется и не рухнет он в канаву. А мать, иззябшая с семьей, в сырой квартире, ждет и не дождется своего работничка-малютку.

Что делалось в квартире?—Оборванные и больные ходят дети. Один тихонько плачет, сердится на маму, другия стонут. Во время забастовки родился еще ребенок. Три дня тому назад он захворал. Теперь беспомощно шевелит посиневшей ножкой и детской грудкой хрипит в предсмертных завываньях...

Мать давит высохшую грудь. Нет слез Нет зла. Нет никому проклятий. Одно желанье, одна мечта: уйти бы, умереть скорее со своей семьей.

А где отец?

Приходит поздно ночью с поисков работы, усталый и голодный, валится он на пол. Не видит он малюток. Не слышит плача их. Ни слова, ни привета не пошлет жене. Не видит мутных глаз ея надсадных.

И только, утром до рассвета, перед поиском работ, идет он в корридор, запрячется и от людей и от жены и зарыдает там неслышным уж надорванным рыданьем.

Как будто легче на минуту...

Вдали светает.

Но корпуса заводские стоят жестокие, смотрят безучастно на тени жалкие, осенние брошенных людей.

А в городе шумят и в освещенных залах спорят с увлеченьем,—кто похудал, кто сколько потерял за лето жиру.

Придут другие дни. Вы будете справлять ваш светлый праздник. Вы запоете гимны вашему прогрессу.

Тогда то к освещенным алтарям, блестящим и шумливым, придут нарушить праздник ваш—осенния, промокшия, изголодавшиеся наши тени.

Сильнее слов.

Наждачное отделение в заводе было отгорожено от мастерской стеклянными стенами. Сухая наждачная и стальная пыль садилась на окна и сделала их матовыми. Ничего не было видно, что делалось там. Пожары искр быстро освещали стеклянную клетку и по окнам пробегали тени не то людей, не то призраков. Непрерывный гул несся из клетки.

Работу на сухом наждаке выдерживали немногие. Уже через полгода люди казались полумертвыми. Они становились бледны, неразговорчивы. Человеческого и живого в них оставалась одна только злость. Самое большее через год уже все кидали работу. Собирали инструменты, бросали залпами в стеклянную будку проклятия, плевали и требовали рассчета.

Удержался только один. Это старик. Кости его были геркулесовския, рост необычайно высокий, грудь широчайшая.

Когда то он был лучшим борцом в городе, красавцем, казался даже баловнем жизни.

Теперь у него остались те же геркулесовские кости, но мускулы высохли, грудь вдавилась. Голова его начала седеть, но пыль с'ела седину и волосы стали серы, как пепел.

Начальник любил пробегать по мастерским перед самым гудком; он требовал, чтобы кончали работать минута в минуту, ровно в двенадцать.

Он как то забежал в наждачную клетку.

Отворил дверь и... окаменел.

Перед ним привидение: высокий силач, весь в сером— серая одежда, серая голова, серое лицо, руки. На глазах черные очки.

Человек, привыкший к заводскому шуму, может сквозь железный грохот расслышать легкий шелест двери: старик остановил работу, снял очки. Начальник увидал у него слезы

— Вы плачете?

Старик помотал головой и показал на пыль.

— Ах, она едкая... проговорил начальник.

— Вы давно работаете?

Старик уже несколько лет ни с кем не говорил: работа приучила его молчать, сухая грудь отвечала кашлем на каждое слово старика.

— Тридцать пять... процедил он.

Его голос показался начальнику страшен.

У него сразу мелькнула мысль: это один из тех, которые держатся на заводе для агитации. Они вербуют людей в союз, в партии, они говорят на собраниях. Такие люди могут потрясать миллионы своим загробным голосом.

— Скажите, вы в пятом году не выступали на митингах?

— Нет... оборвал старик.

— И вы не были депутатом?

— Голосу нет—прохрипел ответ...

Начальник терялся в догадках.

Закашлявшийся старик что то произносил, но начальник не понимал.

— Вам бы надо на покой... подходил к нему начальник. Я буду хлопотать вам о пожизненной пенсии от завода.

Старик закачал головой.

Попытался говорить, но не мог

Наконец, он преодолел тиски, сжимавшие ему грудь, и твердо сказал:

— Я делегат.

— От кого?... испуганно и удивленно спросил начальник.

— От тех... показал старик на землю.

— Это от кого же? От каких?

— Которые ушли...

— Куда?

— Туда... показал старик вниз. Под станки.

— В могилу?..

Трансмиссии вздрогнули, сбавили тон.

Заревел гудок.

Старик сбросил куртку.

Завод встал. Послышался крик, говор и смех выходящей толпы.

Старик, не откланявшись с начальником, быстро вышел из клетки.

Тихо шел за ним начальник.

Старик прорезал толпу, он был выше ея на целую голову.

Сразу крик и смех отлетели.

Завод онемел. И по его сводам, как в могильном склепе, несся и бился кашель старика.

Он так гулко и глухо бухал, что кашель казался самым совершенным словом, словом тех, что ушли, что в могилах.

И на мгновенье казалось, что завод остановился не по гудку, а колеса застыли от этого кашля.

Один, единый общий вздох в толпе. Вздохнул великан-завод и наждачная пыль, проникшая из клетки, тихо садится на голову толпы. Толпа движется, затихшая, сразу как будто потерявшая молодость. Шаги ея, замедленные и нервные, говорят о том, что в жизни иногда самый обыкновенный выход превращается в процессию.

Старик на этот раз закашлялся так, как никогда.

Он стал задыхаться и, окруженный толпою, упал.

И умер без агонии.

* * *

Старика хоронили через два дня.

Встали все заводы нашего „Черного предместья“. Не работали и на промыслах.

Тихо, только для поддержания огня, горели кочегарки. Заводские трубы ровно дымились и стояли на фоне неба как потушенные свечи в храме капитала. Вышки, немыя и черныя, казались траурными великанами, склонившими головы.

Рабочая толпа шла без песен и молитв, как приговоренная к молчанию.

Ни слов, ни речей не было сказано.

Не было ни одного венка; все знали, что наждачная пыль, которую унес в своей груди старик, что эта пыль завтра пройдет сквозь могилу, загубит венок, и сердце толпы еще раз будет поругано.

На могилу положили тот самый наждачный камень, на котором работал покойный: это была его последняя воля.

На камне алмазом вырезали надпись:

„Агитатору Черного предместья, не знавшему слов".

Гудки.

Когда гудят утренние гудки на рабочих окраинах, это вовсе не призыв к неволе. Это песня будущего.

Мы когда то работали в убогих мастерских и начинали работать по утрам в разное время.

А теперь утром в восемь часов кричат гудки для целого миллиона.

Теперь мы минута в минуту начинаем вместе.

Целый миллион берет молот в одно и то же мгновение.

Первые наши удары гремят вместе.

О чем же поют гудки?

— Это утренний гимн единства!

Ворота.

Я целый год вас не видал. Дрожу и бегу к вам, черные трубы, корпуса, шатуны, цилиндры.

Готов говорить с вами, поднять перед вами руки, воспевать вас, мои железные друзья.

Я полон утра, солнца, я в золоте юности, передо мной без конца несется чудесное.

Иду на завод, как на праздник, как на пиршество.

Рабочий город залит, утонул в лучах. Ночная тьма плавится, и льется лавина, море, обвалы огня.—Пышущий, пылающий завод.

Линия корпусов послала огни в поле, к оврагам, зажгла холодную росу тысячами бисера.

Привесные фонари пробудили дремлющия болота. Вчера еще немыя, они движутся, говорят, в осоках льется шопот светлых сказок.

А с башни прямо вдаль огненно-белая струя, как брызг раскаленного металла, как застывший выстрел, пронзила лес. В лесу заходили шальные тени, птицы подняли небывалый гвалт и бурлят как люди на митинге, молодые голоса запели весеннюю песню. вдаль понеслось цоконье дизелей: это аплодисменты перед открытием занавеса, дороги загудели октавами подземного ропота... Вырвались сирены и сотней завыли над городом; вот-вот вырвется еще новый свет, необ'ятный, невиданный, невообразимый свет, свет!

Черным водопадом ввергается в заводскую пасть народ. Силачи-ворота без страха, не мигая, берут, все глотают, глотают.

Сотня... другая .. третья...

Тысяча...

Другая...

И еще... И еще...

Мы на дворе.

— Осеняющая сила железа!

Только вошел, и уже полонен, покорен, закован весь без остатка стихией грома, движения, света.

Воздух гремит и восторженно стонет. Железная душа завода пронзила толпу. Грудь загудела металлической дрожью.

В корпусах началась грузная возня. И все тяжелее, все громче.

Корпуса разорвутся, лопнут. Они сейчас снимутся с места, взорвутся. Разразится катастрофа, из земли вырвутся фонтаны раскаленного металла...

— Ну, да грянь! грянь!—Мы готовы! Мы на дворе, мы уже другие.

Толпа идет новым маршем, ноги уловили железный темп.

Руки горят, им нельзя без дела, им не терпится без молотка, без работы. Токи энергии надо разрядить.

— Бей же! Бей!

Да скорее, да чаще!
Руби, пили!
К машинам!

Мы—их рычаг, мы—их дыхание, замысел.

Тысяча работников, необ'ятная площадь станков.

— Песню!
Железную!

Одну, единую!
Еще, еще быстрее мчитесь, колеса!
Камень, металл, работники, все в вихре смешалось.
Стальной шквал. Огненный смерч. Ураган работы.

— Внимание!

На секунду! Только сразу, всей тысячей:

— Железный демон века с человеческой душой, с нервами, как сталь, с мускулом, как рельса.

Вот он!

Он добьется, он дойдет, он достигнет!

Башня.

На жутких обрывах земли, над бездною страшных морей выросла башня, железная башня рабочих усилий.

Долго работники рыли, болотные пни корчевали и скалы взрывали прибрежныя.

Неудач, неудач, сколько было, несчастий!

Руки и ноги ломались в отчаянных муках, люди падали в ямы, земля их нещадно жрала.

Сначала считали убитых, спевали им песни надгробные. Потом помирали без песен прощальных, без слов. Там под башней погибла толпа безымянных, но славных работников башни.

И всеж победили... и внедрили в глуби земли тяжеленные, плотные кубы бетонов-опор.

Бетон, это—замысел нашей рабочей постройки, работою, подвигом, смертью вскормленный.

В бетоны впились, в них вросли, охватили огнем их, железныя лапы-устои.

Лапы взвились, крепко сцепились железным об'ятьем, кряжем поднялися кверху и, как спина неземного титана, бьются в неслышном труде-напряженьи и держат чудовище-башню.

Тяжела нелегка эта башня земле. Лапы давят, прессуют земные пласты. И порою как будто вздыхает сжатая башней земля, стоны несутся с низов, подземелья, сырых необ'ятных подземных рабочих могил.

А железное эхо подземных рыданий колеблет устои и все об умерших, все о погибших за башню работниках низкой железной октавой поет.

На лапы уперлись колонны, железные балки, угольники, рельсы.

Рельсы и балки вздымаются кверху, жмутся друг к другу, бьют и ловят друг друга, на мгновенье как будто застыли крест на-крест в борьбе и опять побежали все выше, вольнее, мощнее, друг друга тесня, отрицая, и снова прессуя стальными крепленьями.

Высоко, высоко разбежались, до жути высоко, угольники, балки и рельсы; их пронзил миллион раскаленных заклепок,—и все, что тут было ударом отдельным, запертым чувством, воз-

стало в гармонии мощной порыва единого... сильных, решительных, смелых строителей башни.

Что за радость подняться на верх этой кованой башни! Сплетенья гудят и поют, металлическим трепетом бьются, дрожат лабиринты железа. В этом трепете все—и земное, зарытое в недра, земное и песня к верхам, чуть видным, задернутым мглою, верхам.

Вздохнуть, заслепиться тогда и без глаз посмотреть и почувствовать музыку башни рабочей: ходят тяжелыми ходами гаммы железные, хоры железного ропота рвутся и душу зовут к неизведанным, большим чем башня постройкам.

Их там тысячи. Их миллион. Миллиарды... рабочих ударов гремят в этих отзвуках башни железной.

Железо—железо!.. гудят лабиринты.

В светлом воздухе башня вся кажется черной, железо не знает улыбки: горя в нем больше чем радости, мысли в нем больше чем смеха

Железо, покрытое ржавчиной времени, это—мысль вся серьезная, хмурая дума эпох и столетий.

Железную башню венчает прокованный, светлый стальной, весь стремленье к дальним высотам, шлифованный шпиль.

Он синее небо, которому прежние люди молились, давно разорвал, разбросал облака, он луну по ночам провожает как странника старых, былых повестей и сказаний, он тушит ее своим светом, спорит уж с солнцем...

Шпиль высоко летит, башня за ним, тысяча балок и сеть лабиринтов покажутся вдруг вдохновенно легки, и реет стальная вершина над миром победой, трудом, достиженьем.

Сталь, это—воля труда, вознесенного снизу к чуть видным верхам.

Дымкой и мглою бывает подернут наш шпиль: это черные дни неудач, катастрофы движенья, это ужас рабочей неволи, отчаянье, страх и безверье...

Зарыдают сильнее тогда, навзрыд зарыдают октавы тяжелых устоев, задрожит, заколеблется башня, грозит разрушеньем, вся пронзенная воплями сдавшихся жизни тяжелой, усталых... обманутых... строителей башни.

Те, что поднялись кверху, на шпиль, вдруг прожгутся ужасным сомненьем: башни, быть может, и нет, это только мираж, это греза металла, гранита, бетона, это—сны. Вот

они оборвутся... под нами все та же бездонная пропасть— могила.

И, лишенные веры, лишенные воли падают вниз.

Прямо на скалы... На камни.

Но камни жестокие камни ..

Учат!

Или смерть, или только туда, только кверху,—крепить и ковать, и клепать, подыматься и снова все строить железную башню.

— Пробный удар ручника...

Низкая песня мотора...

Говор железной машины...

И опять побежали от тысячи к тысяче токи.

И опять миллионы работников тянутся к башне.

Снова от края до края земного несутся стальные каскады работы, и башня, как рупор-гигант, собирает их в трепетной песне бетона, земли и металла.

Не разбить, не разрушить, никому не отнять этой кованой башни, где слиты в единую душу работники мира, где слышится бой и отбой их движенья, где слезы и кровь уж давно претворились в железо.

О иди же, гори, поднимайся еще и несись еще выше, вольнее, смелее!

Пусть будут еще катастрофы...

Впереди еще много могил, еще много падений.

Пусть же!

Все могилы под башней еще раз тяжелым бетоном зальются, подземные склепы сплетутся железом, и на городе смерти подземном ты бесстрашно несись

И иди

И гори,

Пробивай своим шпилем высоты,

Ты, наш дерзостный башенный мир!

Кран.

Земля задрожит... Приготовьтесь
Многие годы, века строили мы кран.

Его станина была целым городом камня и стали. Под ним глубоко оседали толщи земли, заставляли вздрагивать работников и в душе оставляли ожидание силы, неизведанной силы.

Мы стали смелее, и мириады замыслов рождались каждый день у строителей.

Кверху неслись один за другим угольники, брусы и скрепы; кран вырастал, в воздухе понеслась горящая поэма о металле, слышался голос, идущий из земли через брусы за облака, к звездам, звезды и весь купол вселенной дрожали, замирая от чуда, готового разразиться, ослепить неработавших и открыть новые глаза работающим.

— Кран готов.

Подняли судно из моря, затонувшее сто лет назад и затянутое илом океана.

Подняли железный виадук и перенесли водопроводные башни с одного берега реки на другой.

Кран все рос, все смелел, горделиво возносился над землей и металлически-шумно дерзил своей растущей силой.

По временам у него из-за плетеных балок и брусьев смотрели глаза, полные дальнего замысла. И тогда в людских толпах загуляли восторженные легенды и повести о будущих под'емах, о еще больших, о тяжелейших.

Был разобран город и переправлен через океан.

Америка готовила для Европы целые новые государства из бетона и металла, кран их разбирал, поднимал, переносил.

В Азии транспортным постройкам помешали Гималаи .. Никто и не подумал о туннелях: краном приподняли весь горный кряж и низвергли его в индийские болота.

Кран все это перенес, осилил.

Конечно, не даром. У него были свои стоны, заглушавшие рыдание океанов в непогоду.

Напряженный металл крана грелся, горел, преображался. Весь кран слился, спаялся, нашел в себе новую каленую метал-

лическую кровь, стал единым чудовищем... с глазами, с сердцем, с душой и помыслами.

Он дружески заразил своими железными думами миллионы строителей-работников.

И кран и человеческий миллион небывало, невиданно задерзили.

Мятежи мысли загуляли по земле.

Что нам затонувшие суда, рухнувшие виадуки, вокзалы, города и государства? Что гиганты-горы?

Мы тронем... землю.

Мы испробуем.

Мы испытаем!

Пусть несутся быстрее эти дни мучительного мирового нетерпенья. В разных концах земли мы все думаем-думаем за железное дитя нашей планеты. Наша дума—удары, тоска и мученье—нажимы, под'емы и спуски.

Мы укрепим кран не на земле, а рядом с ней, магнитными токами укрепим его в эфире.

И да!—мы исполним грезу первых мучеников мысли, загнанных пророков человеческой силы, великих певцов железа. Вавилонским строителям через сто веков мы кричим: снова дышат огнем и дымом ваши порывы, железный жертвенник поднят за небо, гордый идол работы снова бушует.

Мы сдвинем, мы сдвинем нашу родину-землю.

Эй, вы, тихие потребители жизни! Разве вы не видите, как неудобно посажена земля, как неловко ходит она по орбите? Мы сделаем ее безбоязненно-гордой, дадим уверенность, пропитаем новой волей.

Так не пугайтесь же, непричастные к работе, чуждые стройкам, не пугайтесь наступающих жутких мгновений.

Среди белого дня пройдут страшные ночные тени, рушатся храмы и музеи, раздвинутся горы, пронесутся непережитые ураганы, океаны пойдут на материки, солнце может показаться на севере, мимо земли промчатся новые светила.

Может быть, для атеистов проснутся боги Эллады, великаны мысли залепечут детские молитвы, тысяча лучших поэтов бросится в море...

Но пусть!

Мы сделаем великую пробу созданной силы.

Земля застонет.
Она... зарыдает.
Пусть!
Риск мы берем на себя. Всем своим миллионом мы верим в удачу.
Мы заранее ликуем и трубим.
И работу начнем уже с маршем победы.

Балки.

Говорят, что железо бездушно, машина холодна и бесстрастна.

Но послушайте,—что было со мной в эту ночь.

Я пришел в завод, как всегда, за десять минут до гудка. За пять минут я уже должен быть там наверху, на кране.

Переодѣлся, вошел в будку и начал работать.

С одного конца завода на другой надо было перенести несколько паровых котлов, десятка три строительных балок и пять платформ с бандажами.

В заводе пахло сыростью, было страшно неуютно, беспри ютно, не совсем светло, а, главное, весь он казался слишком чужим, жестоким.

Я уже включил контролер, чтобы пригнать кран к под'ездному пути в завод, а мысль все кружилась в холоде жизни, где мрут голоса, гаснут улыбки, тонут рыдания. Двадцать лет как я уже не слезаю с будки и сверху смотрю на завод.

Внизу копошатся люди, грязные, пронизанные копотью, кашляющие, сплошь больные ревматизмом. Многие из них постоянно работают в сырых бетонных канавах и, кажется, готовят себе прочные, просторные могилы.. Я не слышу слов в низком гуле говора, который иногда несется из траншей...

Но сегодня я услыхал голос только что поступившего, но уже надорвавшегося рабочего:

За что?

Я ясно слышал, как голос ударился о кованыя стропила, прозвучал по сводам и, не найдя дорогу к небу, разбился, рассыпался в прах ..

Тут же я увидал, как застыл взгляд того, кто спрашивал. Он сделал угрожающий взгляд кверху, плюнул в свою собственную могилу и замолк. Похоронил свой порыв, вытравил душу. Он замолк навсегда.

Дальше я смутно помню, как таял говор, меркли огни, опускались своды.

— Товарищ, товарищ!

Кричали бешено. Кричали сто голосов хором (на весь завод).

— Товарищ, очнись! Очни-сь!

В тумане летели виденья, голоса застилались непонятными туманами, кружилась голова.

— А-ну! А-ну! неслось снизу.

Я очнулся.

В правой руке нестерпимая боль. Рука сжимала выключатель контролера и отекла от холода металла.

На кране висел нагруженный вагон. Он стоял на высоте трех сажен над канавами и, видимо, наводил страх на товарищей. Все бросили работать, все смотрят ко мне, вверх.

Я теперь ясно слышу, как они испуганно говорят, что весь мост прогнулся чуть не на пол-аршина, тормаз не держит, цепь скользит, проволочные канаты трещат. Наконец, кто-то уверяет, что видит, как накренились верхния рельсы под тележками, дрогнул завод, дребезжат окна...

Вагон падает...

Моя рука уже держала контролер. Надо было одним движеньем передать мотору и внезапную поспешность работы и необходимую постепенность включения...

Я начал..

Вагон дрогнул, чуть приподнялся еще выше...

Вдруг раздался треск, послышалось роковое вздрагивание тележек, запахло гарью, промчались полоски зеленых электрических вспышек.

Я весь готов к удару, катастрофе, но продолжаю тихо, последовательно, включать. Я весь в схватке с надвигающимся ураганом огня и металла.

Товарищи замерли.

Тишина иногда бывает слышна, и я почувствовал, как онемел завод—и железо и люди.

Товарищи смотрят на меня и на кран, и я во власти этих глаз, полных единого желания, мигающих одним общим тактом.

Я чувствую, что не оторвать руки от ключа контролера, и включаю, включаю...

Глаза товарищей мигнули тревожным перебоем, видимо, все рискнули за меня, уже смотрят дальше, выше, и я, наконец, перевел на последнее положение.

Еще раз взрыв и фиолетовые вспышки... и достиг! достиг!

Вспыхнул новый свет, весь завод залили световые бассейны.

И когда вагон при свете верхних фонарей, как птица в свободном лете, понесся к дальнему краю завода,—весь завод вырос, встал легким воздушно-стальным миражем.

А все люди послали ему одним и тем же жестом один привет, привет фонарям, камню и стали.

Мне было радостно за завод, за этот редкий праздник работы, за милую, близкую толпу товарищей.

Я как сейчас вижу, товарищи внизу опасаются вместе со мной, радуются победам движенья, я слышу, как они называют мой кран „батюшкой", а про завод все вместе сказали: „выдержит, голубчик!"

Они быстро угадывали движение крана и, видимо, по их мускулам враз пробегал мгновенный ток опасности и радости.

Но не забыть мне последнего, когда кран подошел к самому концу рельс и даже слегка стукнул о конечную поперечную балку—победа!—вся толпа продвинулась вперед, улыбнулась одной улыбкой, выставила вперед свою грудь, казавшуюся великой и единой, и взмахнула руками.

Я невольно оглянулся вверх.

Завод стал еще светлее, легче. Стропила раздвинулись. Железная арка поднялась еще выше и стала теснить небо. Я

расправил руки и вместе с заводским простором, светом и размахом почувствовал, как растет несокрушимым кряжем моя спина, все тело просит небывалого взмаха, полета, а толпа внизу была пропитана такой железной силой, что ея взгляд казался огненным.

Началась песня, хоровая, неизвестная, новая, гимн, тревожный, как взрыв, и могучий, как гул чугунных колонн. Толпа двигалась с песней по заводу, и нельзя было понять, где кончались напевы работников и начиналась металлическая дрожь великана-завода.

Завод превращался в светлое чудо: мы заразили его говором и пеньем, торжеством своим. И наша судьба стала судьбою железа.

Молот.

Вот ночь невиданная.

Рабочие кварталы первый раз шумели так весело.

Во всех клубах, читальнях, союзах, всюду шли приготовления к новогодней встрече.

Тысяча рабочих поэтов готовили новые стихи и поэмы, оркестры разучивали новые танцевальные марши, летучий хор должен был на автомобилях об'ездить все клубы и захватить молодые рабочие массы победным гимном.

„Лига пролетарской культуры“ выбилась из сил, чтобы обставить светом, музыкой и пением все залы рабочих районов.

Но главный замысел „Лиги“ был не этот. Ровно в двенадцать часов ночи с одного из крейсеров дается залп из крупных орудий. Вечера и концерты на полуслове, на полутоне должны всюду в одно мгновение оборваться и к часу ночи черные толпы трогаются к „Рабочему Дворцу“. Маршрут ко дворцу был обозначен по улицам красными световыми гирляндами, идущими со

всех концов города. Горящие цветочные красные линии шли по главным артериям и у самого дворца поднимались кверху на его отточенный гордый шпиль. Сам дворец утопал в непрестанных фонтанах ракет и их взрывах. Лавы людей сразу осенялись морем огненного водопада и бури, и уже не шли, а бежали к своему дворцу, ожидая чудес и небывалых ночных грез. Наверху, над зданием дворца ракеты построили огненное сияние: над громадой домов подымались одна за другой огненные птицы с расправленными крыльями и, достигнув отчаянных высот, разрывались на тысячи звезд и искр с призывным и радостным пением. Когда рабочий город подойдет всей миллионной массой ко дворцу, игра огней и музыки превратит дворец в светлый воздушный призрак... С крейсеров грянут новые безумные залпы.—Толпа входит во дворец с четырех сторон в радостных новых одеждах, с верхних хор ударят двадцать оркестров, и бурные танцы радости начнет весь многотысячный зал. Оркестры потом мгновенно оборвутся, танцы застынут, и по воздуху, поднимаясь в купола дворца, пройдут лучшие ораторы всего света, за ними поэты и музыканты, а потом зала опять утонет в новых радостных плясках. Пляски будут оборваны опять .. Среди залы встанет привидение: человек великан, серьезный, как прошлое, смелый как будущее, и зашагает по праздничным толпам..

— Прямо к главному выходу...

Прямо к востоку...

И скажет:

— Солнце, взойди!

...Солнце взовьется и расплавит последнюю ночь старого года...

* * *

В ночь света, пения, волшебного веселья я должен был пойти на работу в завод. Ни во дворце, ни в малых залах я быть не мог.

Весь путь к заводу по подземной дороге я думал о сказочном дворце.

Со станции к заводу некоторое разстояние пришлось итти пешком.

Завод был темный, неосвещенный.

Только что я прошел шагов двадцать, как со мной начало твориться что-то неладное

Завод стал пошаливать...

Корпуса были те же, но они выстроились тяжелой мрачной толпой и шли на меня черным наступлением. Корпуса росли как гигантская скала в неведомом море и неотступно грозили мне, грозили задавить, уничтожить.

— Врешь! подумал я, не на таких напал. Я ведь был под твоими сводами... стучал. Я тебя понимаю, я тебе сродни.

И прибавил шагу.

Завод вырос до неба, крыл звезды и все шел на меня.

Наступала решительная минута.

Колебаться,—значит погибнуть.

— Здорово! крикнул я в тот момент, когда стены корпусов уже наседали на меня.—Здорово же, дружище!

Открыл дверь, сразу включил штепсель и осветил входные ворота.

Этап пройден.

Наскоро разделся и тут же подумал, что в заводе тоже есть своя дьявольщина, железное наваждение.

Что-то очень недурное и забавно-громадное должно родиться под этими балками и трубами.

Двери распахнулись, и в течение пяти минут вошла вся ночная смена.

Несколько моих милых приятелей и соседей по работе здорово смеялись.

— А великолепная, знаешь, чертовщина лезет в голову, обратился один из них ко мне.

— Да, по временам в этом ковчеге и жутко и любопытно.

Третий товарищ, мало еще мне знакомый, счел долгом кинуть нам обоим:

— Уж если сходить с ума, ребята, так давайте все вместе.

— А, ну-ка, за работу. Авось эта дурь-то выйдет.

Двадцать горн мигом зажглись, двадцать фиолетовых огненных вееров взвились вдоль стены нашей кузницы. Открыли цементировочные ванны, и вместе с гулом по заводу разлился шопот жидкой лавины. Как по команде вышла шеренга сварщиков. В белых асбестовых костюмах они пролезли под старые котлы, раздались один за другим легкие взрывы паяльных тру-

бок, и громадная мастерская сразу потопила весь говор и смех.

В нашей кузнице все шло, как надо.

Но приходили из других отделений новые товарищи, смотрели на часы, кратко перебрасывались фразами и показывали на дальние механические кузницы и котельные мастерские.

Чорт положительно не давал нам покоя...

Наконец, не выдержали и побросали работу.

Всей мастерской мы хлынули к громадным дверям дальних отделений.

Отворили их. Слушаем.

— „Ше-ве-лит-ся“!.. прохрипел старик.

— Мм... пыхтит... испуганно отойдя от двери, проговорил другой.

Но юркие молодые ребята набрались храбрости и отмахнули обе двери.

Перед нами раскрылась черная пропасть неосвещенных мастерских, безлюдных и холодных.

Изредка, как метеоры, пробегали искры и проносился нечеловеческий вздох.

Как раз в это время послышались залпы с крейсеров.

Они было произвели впечатление...

— Пустяк.

— Хорош пустяк... девятидюймовый...

И черные мастерские опять с'едали наше впечатление.

Там началась возня.

Мелькнула тень.

Вырвались искры.

Необ'яснимая ночная жуть во всем воздухе. Но оторваться мы были не в силах. Тут было нечто очень наше, очень родное.

— Сейчас будет что-то скандально-интересное.

Товарищ не успел докончить фразы,—дверь механической печи открылась, вырвались огненным градом искры, и из печи быстро выплыло огненное чудовище, на которое нельзя было смотреть, но которое наполнило завод озером света.

Спустился кран и безудержно поволок двадцатисаженную огненную колонну к станинам молота, стоявшего в заводе без движения целое десятилетие.

Почти никто на заводе не знал ударов этого молота.

Колонна грузно рухнула на наковальню. Молот так зашипел, что, казалось, звук этого шопота идет отовсюду: со стен, с высоких железных крыш, из подземелья, где шли друг на друга маховики машин, и из дальних мастерских, разбуженных ночной возней.

Успели лишь включить электричество, быстро два раза прогудел свисток при молоте, и стальная громада неистово бацнула раскаленную колонну.

Пол затрясся, сверху сорвались сразу несколько десятков фонарей и вдребезги разбились, за ними рухнули верхние стекла крыши, стропила хряснули, и казалось, сейчас раздадутся и задавят весь завод, по мостовым балкам пошел гул, как от дюжины промчавшихся поездов, каменная кузнечная пристройка к заводу дала трещину и толпа подалась в ожидании катастрофы.

Все ждали, что будет с заводом. Но молот после маленькой паузы грохнул опять, грохнул и сатанински зачастил своими ударами.

Завод подавался и наполнялся железным буйством.

Люди от этого грома должны или перепугаться на смерть, погибнуть, или уж вырасти, как никогда...

Не умер, однако, никто.

Через пять минут уже позабыли о разбитых фонарях и об обвалах.

Казалось уже наоборот: если бы из души отнять этот гром, то надо его снова родить, родить во что бы то ни стало.

Молотовой гром становился сильнее. Колонна, хотя и медленно, но стыла; удары шли все жестче и трясли мощнее.

Кран грузно переворачивал колонну и подсовывал под молот, молот обрывался и судорожно бил своей громадой лежащего красного великана.

А завод начал наполняться новой толпой.

Из города пришли с тревогой, с жалобой, с ужасом...

Пострадали десять окрестных кварталов. Всюду были выбиты окна от сотрясения земли и воздуха.

В „Рабочем Дворце“ рухнул потолок и, хоть никого не убил, но наделал не мало несчастий.

Толпа входила и заполняла заводские мастерские. На минуту казалось, что собираются тысячи, чтобы притянуть к ответу страшного ночного стального колдуна.

Когда колонна была прокована и кран отнес ее в приготовленное ложе, из толпы вырвался настойчивый крик:

„Да об'ясните же"!

Крик был подхвачен...

На станину молота по лестнице моментально поднялся один из наших, в синей блузе, и уже поднял руку для жеста, как его перебили.

— Имя, фамилия! Откуда?

Перебили и сами замерли, ждут ответа.

— Строительный слесарь я... Фамилия моя Васильев. У нас на заводе Васильевых триста двадцать пять... Я—один из них...

— По существу говори!

— Начинаю по существу. Этот молот, на котором я стою—одна из лучших трибун всего света. Я вам об'ясню,—слушайте.

— Десять лет тому назад этот молот прибыл к нам на завод. От вокзала до завода было тогда версты четыре по разным улицам и переулкам. Нашей железнодорожной ветки тогда еще не было. Надо было молот двигать с дубинушкой. Вот эту станину мы двигали три месяца днем и ночью. Целое лето мы не давали спать нескольким кварталам. Припевы к „Дубинушке" были не особенно приличные, и вся знать из нашего района перебралась из-за этого на дачи...

Устанавливали и собирали молот два месяца.

Мы его испробовали.

Он ударил один раз, разбудил всех спящих, выбил окна в домах и повалил колокольню.

Нам больше не дали ковать...

Но знаете,—время пришло.

Пришло время торжества.

Вот первая колонна нашего здания.

Эта колонна будет всажена в землю. Надо еще отковать двадцать таких колонн. В глубинах оне будут опираться на бетоны. На колоннах вырастет непотрясаемое здание... Для него не будут страшны не только удары: здание не будет разрушено даже землетрясением...

— Что за здание, чорт возьми?—не утерпели в толпе.

— Здание наше. Рабочий Дворец.

Но вы же вашим чортом-молотом разбили потолок нашего дворца.

— Чудаки. Вы ошиблись, вы поторопились. Рабочий Дворец—вот он, вот этот великан-завод.

— Но вот что: я слово передаю. . ему, вот этому оратору

Он дружески похлопал рукой по станине молота и быстро спрыгнул по лестнице в толпу.

Жерло печи открылось, как занавес... Печь изрыгнула новую раскаленную до бела колонну. Подхваченная краном она поплыла по заводу, затопив его градом искр и сразу накалив его воздух.

Кран положил колонну на наковальню и молот опять начал тешиться своими лязгами и ударами.

Первые клокоты кончились.

Сейчас разразятся новые удары.

И люди насторожились. Весь завод заковал—тишина, у всех замерло сердце...

Молот срывался, и у всех освобождался вздох

Молот выпускал лишний пар, и все мы через радостные перебои сердца отдавали жадно захваченный воздух.

Был момент, когда колонна чуть было не рухнула: мы знали, что пожар всего здания был бы неминуем, мы тогда ничего не видели, кроме молота. За него, за его железные замыслы мы думали, за его удары чувствовали, мы с ним вместе верили, вместе с его тревожным дрожаньем мы надеялись. И когда перед ударами вызывающе блестели его цилиндры, казалось,—весь завод пронизывался новой металлической волей и среди железных громад и над человеческой толпой молот рос. угрожал, строил замыслы... Молот все передумал, он все рассчитал, он... перемучился за свои удары.

Перемучился и... ринулся.

От размеренного удара он перешел к рокоту, удары догоняли друг друга и перешли в непрерывный гром.

Завод как будто тронулся...

Толпа встала в торжественные шеренги.

Отряд молодых женщин вышел вперед с зелеными хвоями и разбросал их кругом по заводу.

Дети поднялись на балки и стропила и закружились воздушными хороводами. Горны подняли огненные веера на сажень кверху и приоткрыли невиданные театры, по рельсам в'ехали в завод, задыхаясь, локомобили и паровозы, остановились как вкопанные и своими гудками грянули гимн, который был слышен за десять верст.

Вся черная громада, вся тысяча тысяч подняла руки кверху и кричала наперебой:—поэта, поэта нашему оратору!

Быстро спустился кран.
Перевернул колонну.
Она забрызгала раскаленным металлом.
В заводе бушевал новый день...
Молот замолк.
А крейсера открыли новую беспримерную пальбу.

„Мы посягнули".

Кончено! Довольно с нас песен благочестия. Смело поднимем свой занавес. И пусть играет наша музыка.

Шеренги и толпы станков, подземные клокоты огненной печи, под'емы и спуски нагруженных кранов, дыхание прокованных крепких цилиндров, рокоты газовых взрывов и мощь молчаливая пресса, вот наши песни, религия, музыка.

Нам когда-то дали вместо хлеба молот и заставили работать. Нас мучили... Но, сжимая молот, мы назвали его другом, каждый удар прибавлял нам в мускулы железо, энергия стали проникала в душу, и мы, когда-то рабы, теперь посягнули на мир.

Мы не будем рваться в эти жалкие выси, которые зовутся небом. Небо—создание праздных, лежачих, ленивых и робких людей.

Ринемтесь вниз!

Вместе с огнем и металлом и газом и паром нароем шахт, пробурим величайшие в мире туннели, взрывами газа опустошим в недрах земли непробитые страшные толщи. О, мы уйдем, мы зароемся в глуби, прорежем их тысячью стальных линий, мы осветим и обнажим подземные пропасти каскадами света и наполним их ревом металла. На многие годы уйдем от неба, от солнца, мерцания звезд, сольемся с землей: она в нас и мы в ней.

Мы войдем в землю тысячами, мы войдем туда миллионами, мы войдем океаном людей! Но оттуда не выйдем, не выйдем уже никогда... Мы погибнем, мы сохраним себя в ненасытном беге и трудовом ударе.

Землею рожденные, мы в нее возвратимся, как сказано древним, но земля преобразится: запертая со всех сторон—без входов и выходов!—она будет полна несмолкаемой бури труда; кругом закованный сталью земной шар будет котлом вселенной, и когда, в изступлении трудового порыва, земля не выдержит и разорвет стальную броню, она родит новых существ, имя которым уже не будет человек.

Новорожденные не заметят маленького низкого неба, потерявшегося во взрыве их рождения, и сразу двинут всю землю на новую орбиту, перемешают карту солнц и планет, создадут новые этажи над мирами.

Сам мир будет новой машиной, где космос впервые найдет свое собственное сердце, свое биенье.

Он несется...

Кто остановит пламя тысячи печей-солнц? кто ослабит напор и взрывы раскаленных атмосфер? кто умерит быстроту маховиков-сатурнов?

Планеты бешено крутятся на своих осях, как моторные якоря-гиганты. Их бег не прервать, их огненные искры не залить!

Космос несется..

Он не может стоять, он родится и умирает и снова родится, растет, болеет и опять воскресает и гонится дальше...

Он достигает, он торжествует!...

— Упал, упал!

Тонет... Отчаялся...

Но огонь плавит все, даже тоску, даже сомненье, даже неверие.

И снова жизнь, клокотанье, работа!

Будет время, — одним нажимом мы оборвем работу во всем мире, усмирим машины. Вселенная наполнится тогда радостным эхом труда, и неизвестно где рожденные аккорды зазвучат еще о больших, незримо и немыслимо далеких горизонтах.

И в эту минуту, когда, холодея, будут отдыхать от стального бега машины, мы всем мировым миллиардом еще раз, не то божески не то демонски, еще сильнее, еще безумнее, посягнем!

„Мы вместе".

Я живу в самом лучшем городе мира. Работаю в самом большом знаменитом заводе. Но утром, когда я еду воздушной дорогой с одной окраины города на другую, я вижу над этим городом еще большие города, а в городах бушуют и ревут невиданные фабрики и заводы.

Чьи они? Эти города, машины, железные пути и поднебесные постройки?

Я не могу прочесть издалека ни одной вывески, но из поезда видно, как мои товарищи, одетые в голубое, белое, коричневое, работают тысячами около тысяч машин, верстаков, тисков и сооружений.

А в стороне, где шумит город-проспект наших владельцев все играют, все играют, все кутят.

Они играют и проигрывают миллионы.

Мы едем по мосту, пересекая проспект.

И из вагона целой толпой кричим им в заплывшия лица:

„Продолжайте, господа!"

Они гордятся и говорят друг другу речи, пишут стихи и поют хвалебные дифирамбы. И все про то, что эти заводы, горы угля, дороги, это все—их, это принадлежит им... Они ликуют от радости.

А мы опять:

„Продолжайте, господа!"

Наш поезд мчится. Нам хочется еще быстрее рвануться вместе с ним к заводам.

Мы входим. И первый наш привет, первый радостный салют—им, нашим друзьям, светлым машинам.

Оне улыбнулись, вздрогнули. Крикнул гудок и начался вихрь работы.

Завод все расходился, расправлялся, собирал силы, в работу входили новые станки и люди, входили и солисты и хористы, поднимали все выше, все настойчивее железную браваду завода. Грянула песня и помчалась в выси.

Кажется, что завод уже невесо́мый, он легкий, он бегущее привиденье, оторвался от земли, несется от горизонта к горизонту и все, что есть на пути—тоскующие поля, тихие селенья, молчащие города, все разит, все разносит и колет, наполняет спящие равнины канонадой молота и мотора, заставляет перекликаться вечно-немые горы, заливает пропасти озерами света и, весь полный своей стальной непобедимой гордыней, угрожает стихиям земным... небесным... мировым, и трудно понять, где машина, где человек. Мы слились со своими железными товарищами, мы с ними спелись, мы вместе создали новую душу движенья, где работник и станок неразрывны.

И уж если наступает, то железо, орудия с нами.

Несутся потоки, мчатся ураганы стального движенья, уверенно бьются за будущее и рождают непобедимые замахи, и все растут, все растут.

И вдруг завод на минуту замолчал, замер, и мы, работники, встали перед ним нашей человеческой толпой и крикнули громаде застывшего металла:

— „Где ты? Ты с кем?"

Мы кричали внизу, а эхо нашего голоса загуляло вверху металлическим гулом; человеческие слова родили железную песню, заставлявшую дрожать людей и лишь только опустились и растаяли гулы, как снова поднялся и взвился к небу стальной хоровод станков; ближе к земле завод гремел неслыханными обвалами жизни, а вверху дерзкие штормы машин отбивали свой решительный ритм:

— Мы с вами, мы с вами!...

Без слов, без звуков, только в душе, мы в последний раз вспомнили тех, что пируют на проспектах, и вместо злобных проклятий, с улыбкой кинули в сторону:

„Так, продолжайте же, господа!“

Моя жизнь.

Велика в прошлом, бесконечна в будущем жизнь моя.

Много столетий я не запомнил. Помню лишь, когда ходил закованный и был привязан к тюрьме моей—работе.

Это я двести лет тому назад бил и разбивал машины. Это я, еще весь человеческий, восстал против холодных недругов своих. Я отдал тогда всю страсть свою этому железному единоборству; я тогда призывал богов на помощь себе, и все же в борьбе потерял не одну голову. Я отчаивался тогда и бросался на отточенные резцы машин, крошил их, но и сам бился в тисках металла.

Это я сто лет назад залил улицы мировых городов своей кровью и развертывал знамена со словами восстания и мести.

Это я же бился потом и терзал свое собственное тело по ту и по эту сторону границ.

И теперь опять я, и уже как-будто вновь рожденный, иду и строю. Все проходит через мои руки и орудия. Создаю виадуки, дороги, машины, микроскопы. Через пульс моего станка и штрих моей пилы я ощущаю самые сокровенные мысли.

Я—носитель беспощадного резца познания.

Всюду иду со своим молотом, зубилом, сверлом. По всему миру... Шагаю через границы, материки, океаны. Весь земной шар я делаю родиной.

Стою перед рабочим домом в Берлине. Стою и восторгаюсь: вот мой громадный, мой тяжелый, неуклюже-сильный дом. И все в нем мое: и входная арка с высеченным молотом, который рвется из камня и просит песни, и наковальня на столе секретаря и шеренги товарищей, идущих взад и вперед.

Вхожу в кооператив в Манчестере и дрожу от радости: мое! Рожденное вдали, но по созвучью с моим, близким.

Я под сводами парижской Биржи Труда, прокопченной и черной. Сначала чужая, выстроенная на чужие, нерабочие деньги, она стала наша и ее прокопченные стены сделались символом надорванной усталой силы.

Несчастье... Яма, могила... На юге Африки взрыв. Тысяча жертв. Это—удар, это... мне удар... в самое сердце.

Бездымные шахты, покрытые пеплом... Это—на краю света памятник моему раненому, моему мировому сердцу.

Умерло мое вчера, несется мое сегодня и уже бьются огни моего завтра.

Не жаль детства, нет тоски о юности, а только—вдаль!

Я живу не годы

Я живу сотни, тысячи лет.

Я живу с сотворения мира.

И я буду жить еще миллионы лет.

И бегу моему не будет предела.

Мы всюду.

Нас небольшая толпа...

Но мы всюду.

Мы избороздили тысячи верст по болотам, лесам и говорили с живущими в юртах. Мы им разсказывали много чудес о пароходах и дамбах.

Ох, как они были довольны.

На прощанье мы им сделали идолов.

Таких, каких они просили.

Но в глаза мы всадили рубины, а головы идолам подняли.

Идолы смотрят через тайгу вдаль.

Туземцы обезумели.

По тайге и болоту зашумели новыя песни.

„Надо выше поднять наших идолов. Идемте искать гор для наших богов"—запели живущие в юртах.

Вот смотрите: они идут с запада к востоку к большим горам. Они верят, что найдут эти горы. Они взойдут на вершины и водрузят там богов своих.

Мы скоро убежали от них и не сказали им, что с восточных гор будет виден океан и новый свет...

Мы бежали, и в долинах нагнали полки солдат, идущих на битву. Мы, сорванцы, без шапок, в однех блузах, бросили их

барабаны в воздух, оборвали команду, остановили армию. „Товарищи, стоп!“.

Армия замерла. Но не вышла из строя. Самый младший из нас схватил рубильник, который всегда носил с собой, и начал включать.

Армия снова пошла.

Миллион людей, без барабана, без музыки шел в ногу.

Наш мальчишка крикнул им:—„Верите-ли вы, что пройдете с своим миллионом сквозь хребет, что растет перед вами?.

Мы не верим, мы... знаем теперь—загремели старики-солдаты

А мальчишка радостно хохочет и кричит им, уходящим в гору:—„Это я сделал из вашей груди железо, а из армии великана-машину“.

Мы убегали от солдат и издали им пели:

„А винтовки ваши не причем“.

Через полчаса мы всей нашей тысячей летели в одном поезде через Европу и прямо правили на океан.

По пути всюду, особенно в селах и полях, нам выкидывали тревожные сигналы:—„Остановитесь! Через океан нет мостов, и туннель еще не прорыт“.

Но мы были влюблены в свой поезд.

И что же:

— Мы заставили весь мир поверить в железный призрак: поезд несся по воздушным рельсам.

Нас встретили миллионы товарищей в Новом свете...

Мастерския там тянулись на целые мили. В них делали все, начиная с мостов и кончая оптикой.

Директора завода собрали всех нас на митинг и говорили о новой индустрии.

„Мы гордимся новым светом. Мы создали новую машинную пластику, недоступную древним. Мы создали работников, любящих резец и микрометр“.

Директора знали, что мы по своему привязаны к машине.

„Мы тоже приверженцы этого мира!“—крикнули мы к эстраде.

— Да?—Попробуйте это доказать.

Мы не заставили себя ждать: наши молодые сорванцы в тот же вечер кинули из Чикаго депеши всему старому и новому свету, и на другой день во всем мире в одну и ту же минуту прогудели сирены.

Это была первая мировая музыка.

А теперь смотрите: есть ли уголок земного шара, где дремлют и не говорят о чудесах переворота?

Наш праздник.

Мы хотели, чтоб наш выход из земли был чудом.
В подземные ходы мы заложили горы мелинита.
О, мы уверены, что взрыв был слышен на Марсе.

Земной шар застонал и бился в агонии. Весь мир на мгновение замер. Но через лаву, пепел и дым вырвались своим быстрым миллионом из подземелья.

Были бешены, рвали и метали. Залили целые мили нашей толпой.

В рабочих куртках, в синих костюмах, в нашем защитном индустриальном цвете.

Мы смеемся, мы молодо хохочем. Покрыли землю тысячью прожекторов. Пусть знают во всей вселенной: на нашей планете едут по миру посланники чудес и катастроф.

— Песни!

— Музыки!

— Оратора! загремели было толпы.

— Ни песен, ни музыки!—заревели железные мосты и постройки.

Наши создания—башни, рельсы, виадуки подняли гул:

— Мы просим слов, слов новых, вековечных... железных.

— На эстраду, на эстраду! закричали мы.

Минута, и по воздушным рельсам, за небеса. выше гор на неведомую трибуну мира помчался силач локомотив.

Он несся пылая...

Впереди он воздвигал молнии и радуги синего дрожащаго света.

Радуги строились в небосклоны. Купола новых небес теснились друг на друга. В эфире вырастал лучезарный тоннель и все манил, все манил нашего железного делегата выше, все выше.

Локомотив рычал, радостно стонал и бил по воздушным рельсам.

И чудо: он не уменьшался, он рос.

Железные лязги все громче.

Каскады железного рева заглушали смерчи и бури, схоронили весь гомон ярмарок, заводов, военных сражений, заставили забыть землетрясения и вулканы.

Вверху гремел над нашими толпами агитатор труда.

Он бил по рельсам, как по струнам.

С железного монблана неслась в наши рабочие толпы воздвигнутая нами поэма... восторженный крик машины, торжествующая песня кованого металла:

— Миллион!

— Мой отец и ученик мой.

— Мое дитя и родитель.

— Я... угрожаю!

— Твоим именем, стальной душой твоей, твоим смелым телом, бесстрашным чудесным мозгом твоим, твоей пылающей улыбкой и железным замахом твоим...

— Я угрожаю!

— Ко мне, ко мне, миллион, твое вниманье.

— Я знаю, чего ты ждешь:

— Ты хочешь переворота .. катастрофы.

— Я—делатель, я—автор катастроф!

— Она—пришествие.

— Она—крушенье.

— Провал миров.

— Явленье новых.

— Но, миллион мой, ратник инструмента, мой гений рычага, мой друг.

— Гордый и спокойный.

— Я гремлю на весь мир твоим голосом и всему дрожащему, всему паническому грожу своим железным неумолимым рассчетом:

— Катастрофу я рассчитал до секунды и до миллиметра...

Тише...

Считайте секунды.

Огонь доходит до светопреставления...

Пар грозит безумием взрыва и грохота ..

Смотрите: на небе—манометр. Он победно говорит о решительном кануне.

Мгновенья ..

Последния...

Локомотив мгновенно титанически и мятежно вырос.

Он восстал.

Рельсы загремели радостью и ужасом риска ..

... Мальчик, мальчик, выключи!

Выключи.

Это пока репетиция...

— Сделано!.. произнес малютка среди полной тишины и картавым детским голосом спокойно сказал:

Теперь мы готовы к этому чуду в каждое мгновенье.

Мы идем.

Мы падали. Нас поражали.

Но в муках отчаянных все же мы кричали: „Мы явимся снова, придем!“

Серые дни поползли по земле.

Попрятались красные зори, забыты надежды, был выжжен сомненьем порыв.

То яростно бился о камни, то черной тоской залегал по долинам ветер—бездомный скиталец; таился и жался измученный.

Но всеж, собирая последние силы, он вихрем взвивался в заснувшия выси, тучи ленивые в миг разрывал и показывал солнце: падал стремглав он опять с вышины, буйно туманы в низинах кружил и свистом пронзительным даль прорезал: „Мы явимся снова, придем!“

Кутали землю, как трауром черным, душили тяжелые ночи.

Шарила в царстве своем, разгулялась костлявая смерть. Плакал дождем постоянно рассвет, в саванах белых все шли без конца вереницы .. Злые и жадные тени кружились над жертвой, ее поругали. Вздох проносился предсмертный, глубокий, глаза потухали .. Но блеском последним все ж прожигали тьму: „Мы явимся снова, придем!“

А на том берегу пировали. Там—танцы, безумно веселые танцы. На чьих-то могилах воздвигнуты новые замки. Музыка в диком угаре неслась: „Он умер, он умер Не встанет“.

Пьяный разгул увлекал... Увлекал до безсилья. Пир истомил их, устали они. Мирно, покойно дремали.

Совсем безмятежное, тихое утро...

Вдруг с наших, казалось, умерших постов, началась перекличка: барабанили зорю.

Музыка замков дала перебой: „Нет, не придет, не воскреснет“.

Дала перебой и затихла. Совсем замерла ожиданьем .. А с нашего берега звонко неслось:—„Мы снова, мы снова идем. Мы прямо с работы, мы с душных заводов, чумазые, с шахт и из темных подвалов. И прямо на светлый ваш пир“.

Светало. На замках тревожно играли и бились ночные огни. А по небу шла, расходилась, как вольная песня, заря, то

тихо верха облаков зажигала надеждой, то мдерзки пожаром рвалась, огнем обнимала холодное небо.

Идем мы и дышим мятежной отвагой. Просятся, рвутся, летят и поют переливы восторженных слов.

Мы идем! Нам нельзя не идти: встали мрачные тени недавних разбитых бойцов; поднялися живые преданья былого—сраженные раной отцы.

Мы за ними.

Совсем впереди, и сильней, и отважней, чем мы, зашагали пришедшие в жизнь молодые борцы. А вот наши подруги—друзья по станку. В руках оне счастье свое дорогое—детей—принесли. И смотрите: от груди едва оторвался ребенок, а делает радостный взгляд к небесам, вольные всплески ручонок, к новому миру он рвется

И идем, и бежим и несемся громадой своей трудовой.

Нас ничто не страшит: мы пути по пустыням, по дебрям проложим!

По дороге—река... Так мы вплавь! По саженям... отмахивать будем и гребнистые волны разрежем.

Попадутся леса... Мы пронижем и лес своим бешеным маршем!

Встретятся горы... До вздохов последних, до самых отчаянных рисков к вершинам пойдем. Мы возьмем их!

Мы знаем,—заколет в груди... Но великое с болью дается. Для великого раны не страшны. До вершин доберемся, возьмем их!

Но выше еще, еще выше!—В победном угаре мы с самых высоких утесов, мы с самых предательских скал ринемся в самые дальние выси!

Крыльев нет?

Они будут! Родятся... во взрыве горячих желаний.

О идемте, идем!

Уже в прошлом осенняя дикая, пьяная ночь. Впереди—залитая волшебною сказкой, вся в музыке тонет, вся бьется как юное счастье—свобода.

Идем!

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Стр.

Путь пролетарской критики и „Поэзия рабочего удара“ А. Гастева 5
Мы растем из железа . . . 17
Звоны 19
Старость 21
Осенние тени 23
Сильнее слов 25
Гудки 28
Ворота 29
Башня 31

Стр

Кран 34
Балки 36
Молот 39
Мы посягнули 46
Мы вместе 48
Моя жизнь 51
Мы всюду 52
Наш праздник 54
Мы идем 57